

Вадим Перельмутер

«Медальный профиль, глуховатый голос...»

Два фрагмента к биографии Ахматовой

Библейскою бездомною беглянкой
Глядела вдаль заплаканная Муза...

Шенгели

1

Миф всегда прав

В мемуарах Евгения Рейна есть эпизод, законно претендующий на то, чтобы именоваться анекдотом. Краткий пересказ, как водится, теряет в колорите, зато обнажает механизм сюжета.

Середина пятидесятых, утро, Крым. К молодежной компании, расположившейся в открытом кафе на морском берегу, подходит бомжеватый с виду абориген, которому явственно и срочно требуется поправить пошатнувшееся с вечера здоровье. И просит... помочь ему (деньгами, понятно, кто сколько может) добратся до дому, мол, освободился недавно по амнистии, «червонец» на Севере отмотал по политическому делу, да, вот застрял, дó дому доехать не на что. Молодые питерцы видят, разумеется, чем человек мучится, и бестактного вопроса – каким ветром беднягу в Крым-то из лагеря занесло? – не задают. Но в игру включаются мигом. За что сидел, спрашивают. Не могу разболтать, отвечает, очень дело секретное. Ну, не можешь так не можешь, на нет и суда нет, не получишь ничего. Пришелец сдается сразу. Вам, говорит, я вижу, доверять можно, только вы уж не выдавайте меня, а сидел я по делу Ахмедова и Зайченко. Следует многозначительная пауза. И добавляет, что, вообще-то, Зайченко ни в чем не виноват. Его Ахмедов втянул.

И тут Рейн с восторгом догадывается, что речь идет об Ахматовой и Зощенко...

В сентябре сорок первого по телеграмме Фадеева из блокадного Ленинграда срочно вывезли в эвакуацию двух писателей. Ахматову и Зощенко.

Когда потаенные документы публикуются с многолетним опозданием, самое в них существенное подчас ускользает от внимания: читатель, отделенный от событий двумя-тремя поколениями, следует за *текстом*, упуская детали, связующие с *контекстом*.

Ахматова считала – и говорила не раз, что кампания 1946 года, с хамством Жданова и культурофобским постановлением ЦК, была направлена прямой наводкой против нее, а Зощенко пострадал *рикошетом*, его рассказец, прежде уже четырежды (!) печатавшийся, дал только повод пристегнуть его к *процессу*, дабы *цель* не так била в глаза. Зощенко этого так и не пережил. Но к *убийствам для отвлечения* советская история приучила: вождь своих реальных или мнимых соперников засовывал в штабеля покойников, ни к чему не причастных...

Ахматовские оценки происходящего с нею принято подчас с легковатой руки поздних мемуаристов и критиков оговаривать ее мнительностью, для эпохи – естественной, и преувеличением собственной значимости. При этом почему-то забывается, что поэт *лучше слышит*. Она услышала раскат беды второго апреля, едва лишь встала при ее появлении на поэтическом вечере публика в Колонном зале.

Говорят, Сталин, узнав про то, поинтересовался: «Кто организовал вставание?».

А тут еще и *роман* Ахматовой с Исайей Берлиным. И очень похоже на то, что именно он, а не *роман* в романе «Буря», как предполагал Эренбург, стал причиной сталинского запрета на «межгосударственные» браки.

Вероятно, стоит добавить сюда и встречу – пусть случайную! – с посетившим Ленинград сыном Черчилля.

Всё – *перед августом* сорок шестого...

В девяносто шестом, к пятидесятилетию аутодафе, «Звезда» напечатала стенограмму ленинградского собрания, этого

хорового писательского пения под ждановское дирижирование. А в самом конце – кулуарная болтовня. Александр Прокофьев, главарь ленинградского Союза писателей, только что воротившийся из Москвы, где его сотоварищи распекали на главном партийном ковре, рассказывает, что после головомойки Сталин с ним заговорил, улыбаясь по-доброму, вот он и решился стукнуть на столичных собратьев. Ахматову, говорит, не только ленинградские, ее и московские журналы печатают. Ничего, утешил Сталин, доберемся и до московских...

О Зощенко – ни слова.

«В России все тайна и ничто не секрет» (Жермена де Сталь).

В первых числах сентября 1946 года Ахматова уехала из Ленинграда в Москву. На вокзале ее встретил Георгий Шенгели, усадил в такси, повез к себе – на Первую Мещанскую. На вопрос Ахматовой, стоит ли так рисковать, ведь у него семья, недоуменно пожал плечами: не понимаю, Анна Андреевна, о чем вы говорите...

В составленной дотошными исследователями *хронике* ахматовской жизни эта поездка не значится. Документальных свидетельств о ней не обнаружено.

Но она была.

Мне рассказывали вдова Шенгели Нина Леонтьевна Манухина и ее дочь – его падчерица – Ирина Сергеевна, каковы были для них те десять (то ли двенадцать, за точность не ручались, не до счета было) дней, проведенных тогда Ахматовой в их квартире. Об усилении не выказать вовне пульсировавший внутри страх. О не провозглашенном, но действовавшем табу на разговоры о прошедшем и происходящем, о неторопливых – за чаем – беседах-воспоминаниях и даже о двух-трех приемах немногих гостей, среди которых, кстати, был и Арсений Тарковский, тоже пострадавший от *августовского* партийного погрома – набор его первой книги, уже подписанной в печать, был рассыпан в типографии. Именно тогда Тарковский и познакомился с Ахматовой. Про то есть в воспоминаниях Нины Ольшевской, при сем знакомстве присутствовавшей. Чем не *свидетельство*! Однако по неведомым причинам оно к дате иной отнесено, хотя и не вполне с нею согласуется...

Думаю, что след этой поездки легко отыскался бы в... архиве КГБ (в пору, о которой речь, – МГБ). Увы, по правилам этой ор-

ганизации, материалы «оперативной разработки», то бишь деятельности «конторы», которая не завершилась арестом «объекта», хранятся не более двадцати лет.

Впрочем, упоминание о том – не *всуге*. Рискну предположить, что срочный и скрытый от питерских знакомых отъезд в Москву был продиктован вполне объяснимым страхом. Страхом перед непредсказуемой реакцией «местных органов» на явственный знак, озвученный в докладе Жданова. Вроде бы и нет прямого указания с Лубянки, но не возникнет ли в «местных» порыва превентивно выслужиться перед нею...

Жизненный опыт Ахматовой отнюдь не исключал такого виража событий. А ежели беды все равно не миновать, то в Москве это выявится отчетливей и быстрее...



Анна Ахматова
Рисунок Георгия Шенгели

Ахматова говорила, что бесстрашие – это отсутствие воображения.

У нее с воображением все было в порядке.

У Шенгели – тоже. А ему было чего страшиться и без питерской гостыи. Ибо всего за несколько месяцев до ее появления был он любезно приглашен на Лубянку. И приветливый следователь предложил ему ознакомиться с написанными поэтом Георгием Шенгели в 1921 году «Стихами о Гумилеве». Абсолютно – с точки зрения власти – *криминальными*. Далее последовало естественное предложение о дальнейшем *сотрудничестве*. Самоубийство, мотив которого неоднократно прежде возникал в стихах Шенгели, на сей раз в его планы не входило. Он в ответ лишь

предположил, что при его замкнутом, *академическом* образе жизни оное *сотрудничество* едва ли может быть плодотворным. На том и расстались.

Явление Ахматовой *после* этой беседы про «Стихи о Гумилеве», разумеется, случайность. Однако в жизни поэтов рифмуется и не такое...

Потом, приезжая в Москву, Ахматова всякий раз непременно навещала чету Шенгели.

Однажды привела с собою Марию Петровых, в двадцатых годах учившуюся у профессора Шенгели в Брюсовском литературном институте, а в начале тридцатых привлеченную им к занятиям поэтическим переводом.

Среди записей Петровых есть упоминание о том, что на обратном пути Ахматова говорила о только что услышанном стихотворении Георгия Аркадьевича:

Я начинаю забывать стихи;
Так улетают из вольеры птицы...

В набросках плана главы «Современники» из неосуществленной ахматовской книги «Пестрые заметки» перечислены десять *персонажей*, каждому из которых «будет посвящена отдельная главка». На четвертом месте – Шенгели. После Мандельштама, Гумилева, Блока. Перед Ниной Ольшевской, Надеждой Мандельштам, Модильяни, Вячеславом Ивановым.

И заглавие заметок о нем – «Неуслышанный голос».
Услышала...

После смерти Шенгели Ахматова несколько раз останавливалась у Нины Леонтьевны. Пока здоровье позволяло. В этом «Доме ТАСС», построенном в 1938 году, не было лифта. А квартира – на шестом этаже...

В октябре пятьдесят седьмого Ахматова привезла и подарила Манухиной листок со стихами. Вот они.

Царскосельская элегия

(Памяти друга)

Сады прекрасные! Под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой.

Пушкин

Этой ивы листы в девятнадцатом веке увяли,
Чтобы в строчке стиха серебриться свежее стократ.
Одичалые розы пурпурным шиповником стали,
А лицейские гимны все так же заздравно звучат.

Полстолетья прошло... Щедро взыскана дивной судьбою,
Я в беспамятстве лет забывала течение годов, –
И туда не вернусь! Но возьму и за Лету с собою
Очертанья живые моих царскосельских садов.

5 октября 1957. Москва

Позже, в том же году, стихотворение вошло вторым в диптих «Городу Пушкина», которому предпослан иной – тоже *пушкинский* – эпиграф, а посвящение снято. Случай у поэтов нередкий и вовсе не свидетельствующий ни о *перемене в отношениях*, ни о *неверности в дружбе*. Просто стихотворение включено в другой *контекст* – цикла или книги. Скажем, у того же Шенгели стихотворение, посвященное Мандельштаму в книге 1918 года, в следующую, вышедшую четыре года спустя, включено без посвящения. Хотя ни малейшей размолвки в их дружбе, начавшейся в середине десятых годов, не было...

Ныне автограф – в фонде Шенгели в РГАЛИ.

2

...Они познакомились в конце девятьсот шестнадцатого. Встречались редко. До сорок шестого – трижды. В сорок третьем, после дня, проведенного Шенгели у Ахматовой в Ташкенте, и слушания «Поэмы без героя» он написал стихи об этих встречах: «Гудел

декабрь шестнадцатого года. Убит был Гришка. С хрустом надломилась Империя»...

Он не любил просиживать часами на совещаниях и конференциях. Однако *poblesse oblige* – не только поэт, но и профессор, филолог и стиховед, и переводчик европейской классики etc. Проходило. На листочках, разложенных перед участниками «для заметок», он... рисовал. Чаще всего – портреты присутствующих и отсутствующих писателей, с натуры и по воспоминаниям. Легко, уверенно, иногда иронично, подчас шаржированно, рисовальщиком был отменным.

Среди этих пожелтевших осьмушек есть и портрет Ахматовой – такой, какой увидел ее в двадцать третьем. Профиль, слегка, ненарочито утрированный, вызывающий почти бессознательную ассоциацию с ее любимым поэтом – одним из двух, быть может, и промелькнула в момент рисования мысль о нем: «Тень Данта с профилем орлиным»...

Шенгели умер в 1956 году.

Девять лет спустя, в год-анаграмму – 1965, в Большом театре на вечере, посвященном семисотлетию со дня рождения великого флорентийца, Ахматова произнесла свое «Слово о Данте». Последнее в жизни выступление. Девятнадцатого октября – хоть и *новый стиль*, но от нечаянной этой переключки с *лицейской годовщиной* второго любимого не отстраниться.

Кроме нее, поэтов в тот вечер на сцене не было.

В конце зимы восемьдесят пятого Эмма Григорьевна Герштейн упомянула в беседе со мной, к слову пришлось, повода не помню, что заходил к ней на днях Вадим Черных, консультировался по поводу ахматовского двухтомника, который готовит к печати.

«А «Слово о Данте» там будет?» – поинтересовался я. «Нет. Этого текста не было – Анна Андреевна говорила без тетрадки». – «Был». – «Вы ошибаетесь. И не можете этого знать», – с этакой уверенной снисходительностью старшего – к изрядно младшему.

Я знал. Уже больше года мы с Сергеем Васильевичем Шервинским готовили к изданию в Армении первую – и оказавшуюся единственной прижизненной – книгу его *избранного*, «От знакомства – к родству», куда включили и его мемуарный очерк «Анна Ахматова в ракурсе быта». Не без полемики включили. Шервинский сомневался долго – стоит ли? кто это увидит-прочтет за чертой Еревана, да и там по пальцам счесть, кому это интересно. Я убеждал его, что те, кому *интересно*, не то что в Ереване, а и на дне морском отыщут написанное про Ахматову. И приводил примеры, мол, об этом и об этом, и еще об этом, узнать просто-напросто больше неоткуда. По счастью, убедил. А заодно чуть ли не наизусть выучил тот очерк.



И там, в конце, рассказано, как позвонила ему в начале октября Ахматова и попросила приехать к ней в Сокольники. Он поехал, теряясь в догадках о цели такого единственного лет за сорок знакомства приглашения, ведь прежде она всегда сама приезжала в гости.

Оказалось, что Ахматова хочет *проверить* на нем, первом слушателе, написанное «Слово о Данте». И прочитала его – по записи. Шервинский счел текст превосходным. И сделал лишь одно, но, как он выразился, «существенное» замечание – посоветовал поменять две части местами. Что и было сделано.

Выслушав меня, Эмма Григорьевна несколько минут молчала непроницаемо. А потом коротко сказала, что передаст все это «по назначению» (цитирую дословно).

Потом я узнал, что Черных заново перерыл все доступные ахматовские бумаги, но текста «Слова о Данте» так и не сыскал. И, отчаявшись, сделал то, что, по-моему, должно было прийти ему на ум много раньше – отправился в Государственный архив фонодокументов. Ведь Дантовский вечер, конечно, записывался на пленку. По ней Черных и восстановил текст (кроме одного слова, канувшего в секундный дефект записи).

Двухтомник вышел осенью восемьдесят шестого.

«Слово о Данте» занимает в нем полторы странички.

Пять минут звучащего Слова.

И кроме имени Данте – три имени «друзей и современников»: Гумилев, Мандельштам, Лозинский.

Два из них, прозвучавших со сцены Большого, в шестьдесят пятом были под полным, незыблемым цензурным запретом.

И потому последнее Слово Ахматовой, вызвавшее овацию зала, было опубликовано двадцать один год спустя.

Мюнхен

